

Азбука
PREMIUM

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

Лабиринты



Санкт-Петербург

УДК 821.112.2
ББК 84(4Шва)-44
Д 97

Friedrich Dürrenmatt
LABYRINTH (Stoffe I–III)
Copyright © 1998 by Diogenes Verlag AG Zürich
TURMBAU (Stoffe IV–IX)
Copyright © 1998 by Diogenes Verlag AG Zürich
All rights reserved

Перевод с немецкого Галины Снежинской
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Ильи Кучмы

Дюрренматт Ф.

Д 97 Лабиринты : сюжеты / Фридрих Дюрренматт ; пер. с нем.
Г. Снежинской. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. —
512 с. — (Азбука Premium).

ISBN 978-5-389-11072-4

Предлагаем читателям самую необыкновенную и, пожалуй, самую интересную книгу крупнейшего швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта, создававшуюся им на протяжении многих лет. Она написана в жанре, которому до сих пор нет названия. Сам писатель называл свое детище лаконичным словом «Сюжеты». Под одной обложкой Дюрренматт собрал многочисленные «ненаписанные вещи», объединив их в причудливый коллаж из воспоминаний, размышлений, обрывков разнообразных фрагментов, загадочным образом ведущих к иным текстам, замыслам, снам, фантазиям. Сюда также вошли законченные произведения, переработанные автором; например, широко известная притча «Зимняя война в Тибете». Все вместе представляет собой некий лабиринт или недостроенную башню воображения, которая, подобно человеческой культуре, вечно находится в процессе строительства и никогда не будет завершена.

Впервые на русском!

УДК 821.112.2
ББК 84(4Шва)-44

© Г. Снежинская, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА

ISBN 978-5-389-11072-4

Лабиринт

Сюжеты I—III

1964—1981 гг.

Окончательная редакция 1990 г.

Читатель, отдав за книгу свои наличные, спросит: что возместит ему затрату? Единственное мое спасение теперь — напомнить читателю, что книгу он сумеет использовать самым различным образом, даже и не читая ее. Этой книгой, как и многими другими, он может заполнить свободное место на полке в своей библиотеке, где на нее, в такой свежей обложке, будет приятно посмотреть. Или же читатель может положить ее на трюмо или чайный столик своей ученой подруги. Наконец, и это как раз самое лучшее, что я всячески советую, он может критически оценить книгу.

А. Шопенгауэр

I. ЗИМНЯЯ ВОЙНА В ТИБЕТЕ

Много раз, все снова и снова кто-нибудь пытался описать свою собственную жизнь. Я считаю, это дело невозможное, хотя и понять людей могу. Чем ты старше, тем сильнее тянет подвести итоги. Смерть приближается, жизнь убегает. Она убегает — значит, ты стремишься воплотить ее, дать ей образное выражение; а когда что-то воплощаешь, тем самым ты что-то фальсифицируешь. Вот так и появляются неверные итоги, которые мы называем жизнеописаниями. Порой это великие художественные произведения — о том свидетельствует мировая литература, — их часто принимают за чистую монету, а надо бы — просто за ценную.

Что же до моей жизни, ее подробное описание излишне еще и по другой причине. По сравнению с судьбой многих миллионов, которые жили раньше, живут в то время, когда живу я, будут жить и тогда, когда я жить перестану, мне самому моя жизнь кажется настолько привилегированной, что просто совестно еще и по-писательски ее прославлять. Если я все-таки пишу о себе, то пишу не историю своей жизни, а стараюсь воссоздать историю моих материалов — сюжетов и тем. Они ведь выражают мое мышление, раз уж я писатель. Хотя, конечно, мое мышление ими не ограничивается. Но сюжеты — результат моего мышления, это зеркала, в которых так или иначе, смотря по тому, какова шлифовка, отражается мое мышление, следовательно — и моя жизнь. Однако в числе этих сюжетов не только те, которые я превратил в тексты, но и другие, по которым ничего

не написано или написано, но осталось незавершенным. Когда я в общих чертах набрасываю именно такие сюжеты, я словно нащупываю обратный путь своих мыслей, иду по следу, как охотник, и то, что при этом выскакивает из укрытия, и есть моя жизнь. Если же, наоборот, я принимаю размышлять о своей жизни, то за написанными вещами я различаю ненаписанные, то есть сюжеты, материалы. Они покоятся в моей памяти, со временем став нечеткими, как все канувшее в прошлое. Часто лишь смутно угадываются фрагменты, а целого, можно сказать, нет, зато фрагменты растут как на дрожжах, мне в укор, ведь они — упущенные шансы, нереализованные возможности. Несомненно, сюжеты, превратившиеся в тексты, это итоги моей жизни. Но жизнь — это не только поступки и действия, а прежде всего переживания. Они предшествуют действию, и точно так же бездействие, мечтания, грезы обусловлены переживанием, самой жизнью, в конце концов.

Кто пишет — тот действует, пускает в оборот переживания и жизнь, непосредственно либо опосредованно, в силу тех или иных причин, побуждающих человека писать, нередко обманчивых; непосредственно или опосредованно — это уж смотря по тому, каков его характер; в моем случае о непосредственности нет речи. Я не из числа писателей-экзгибиционистов, не знающих стыда, не из тех, кто так и сяк монтирует, сочиняет и пересочиняет свою жизнь, не принадлежу я и к тем, кто ушатами выплескивает на тебя витиеватые словеса, так что недолго и захлебнуться, барахтаясь в потоках авторского красноречия. Я из цеха слесарей и конструкторов мысли, которым нелегко приходится с их собственными находками и выдумками, так как эти находки то и дело перечеркивают авторские планы и замыслы и даже убеждения. Эти писатели не «идут от языка», а, наоборот, пробиваются к языку с мучительным трудом, но не потому, что язык слаб, не на уровне сюжетов, — у них как раз сюжеты хромают, обретаются где-то вне слова, в чем-то еще безъязыком, не вполне продуманном, образ-

ном, зримом. У меня не мысли рождают образы, а, напротив, образы рождают мысли. Моя писанина нацелена куда-то в сторону от моего «я», хоть я и не написал чего-то, что не было бы связано с пережитым лично мной, с моими вытесненными либо давно забытыми переживаниями, чувствами и мыслями. И кстати, мои не написанные или не завершенные вещи связаны с моим миром, то есть с миром, каким я его переживал и переживаю, более непосредственно, чем вещи написанные и завершенные, которые вначале были материалом, затем пропускались через фильтры, формировались так, потом эдак, потом еще как-то, и хотя всякий раз принимали новый облик, но все-таки доводились до конца, обретали язык, то есть были приспособлены, приближены к языку. Поэтому так важны вещи не написанные или написанные, но не завершенные. Они либо еще не обрели речь, не превратились в речь, либо остались попытками, не доведенными до финала, финал же всегда сомнителен, да и не может быть другим: закончить что-то можно только произвольно, закончить вещь — значит отдать ее в чужие руки, утратить, забыть, поневоле смирившись — как всегда, когда что-то забыл. А вот вещь не написанная или не завершенная принадлежит мне. Она существует только в моих мыслях, это либо фантазия, либо что-то начатое и отложенное, но все-таки возможное и потому не дающее тебе покоя. Пытаясь реконструировать или хотя бы набросать эти ненаписанные вещи, недоработанные сюжеты, обрывки фантазии, переживания и, более того, само время, когда они ко мне пришли, я на самом деле хочу забыть их, освободиться, сбросить балласт, который с каждым годом все тяжелее.

Первыми идут впечатления. Деревня появилась у пересечения двух дорог — из Берна в Люцерн и из Бургдорфа в Тун, на плоскогорье, у подножия высокого холма Балленбюль и недалеко от пригорка Висельников, на который когда-то привозили из Шлосвиля убийц и мятежников, приговоренных тамошним судом. Через плато протекает

ручей. Местным деревенькам и хуторам нужен был свой центр. Здешняя аристократия обеднела, один из последних представителей знати насмерть замерз, пьяный, аккурат у дверей своего хорошенького замочка. Усадьбы аристократов превратились в дома престарелых или пансионаты. В первое время у перекрестка дорог стоял трактир, потом наискосок от него появилась кузница, затем заполнились и два оставшихся поля этой системы координат, на одном углу построили магазин, на другом театральный зал, последнее немаловажно: у деревни был свой король йодля¹, звали его Шмальц, а также свой драматург, учитель Гриби, чьи сочинения ставились в театральных кружках во всем Эмментале, чаще всего пьесу «Блюмлисальп. Бернское драматическое сказание в пяти действиях»; от нее в моей памяти остались только какие-то тени да еще финал: под занавес на сцене раздался страшный грохот — горный обвал похоронил под глыбами льда и обломками скал прекрасные горные пастбища Блюмлисальпа. Вдоль дороги на Тун обосновались набойщик, торговец текстилем, мясник, пекарь, а также школа, от которой уже было рукой подать до соседней деревни; парни из той деревни поколачивали меня, подкараулив на дороге в школу, и собак из той деревни мы боялись. На небольшой возвышенности между Тунской и Бернской дорогами находились сберегательная касса, пасторский дом, церковь и кладбище. Но только когда вдоль круто поднимающейся в гору дороги на Бургдорф вырос большой молочный завод, в первые годы называвшийся Акционерным обществом Штальден, деревня и впрямь сделалась местным центром: со всей округи на завод везли молоко в бидонах, мелкие фермеры — на тележках, запрягая в них больших собак, а хозяева посolidней — на больших телегах с лошадьми. Из отдаленных деревень приезжали грузовики, мы, мальчишки, собравшись группами, ждали их, но это уже позднее, когда мы перешли в школу второй

¹ *Йодль* — тирольское горловое пение. (Здесь и далее примеч. перев.)

ступени, находившуюся в Гроссехштеттене. Мы прицеплялись к здоровенным машинам, выезжавшим из заводских ворот, и грузовики тянули на буксире нас, велосипедистов, вверх по дороге на Бургдорф. Мы ужасно боялись, но не полиции — с толстяком-полицейским каждый из нас управился бы одной левой, — мы боялись учителя письма и французского. За глаза мы звали его Старой Мымрой и Хегу¹, а на его уроках тряслись от страха, так как он был скор на расправу, чуть что отвешивал тяжеленные затрешины, драл за уши, таскал за волосы, да еще заставлял нас приветствовать друг друга — обмениваться рукопожатием, приговаривая: «Будь здрав, ученый европеец!» Прицепившись к рычащему грузовику, под громохание подпрыгивавших в кузове пустых бидонов, мы пускались фантазировать: будто бы наш учитель — это огромная гора, которую мы должны покорить, и выдумывали невероятные названия для невероятно крутых горных склонов и скальных стен. Однако молочный завод с его высокой трубой, этим подлинным символом деревни, не в пример церковной колокольне, играет все-таки не столь важную роль в моих воспоминаниях, как наш вокзал. Он имел право именоваться вокзалом, а не просто станцией железной дороги, как по правде надо бы называть «вокзалы» других деревень нашей округи. Это был настоящий железнодорожный узел, гордость нашей деревенской публики. Редкий поезд осмеливался промчатся мимо нас без остановки в далекий Люцерн или не столь далекий Берн. Сидя на скамейке перед зданием вокзала, я смотрел на такой поезд, когда он приближался, и чувствовал разом и притяжение, и неприязнь, потом мимо проносился паровоз, пыхтящий доисторический мастодонт, и в окнах вагонов были видны пассажиры, даже не замечавшие вокзал, через который они пролетали. И еще глубже в прошлое уходят мои воспоминания — в туннель-переезд, пробитый на дороге в Бургдорф, на ее

¹ То есть просто по имени.

пересечении с железнодорожными путями. Лестница из туннеля поднимается прямо в здание вокзала. Этот туннель мне запомнился — темная пещера, я угодил туда однажды, трех лет от роду, когда улизнул из дома и по самой середине дороги потопапал в деревню. В дальнем конце пещеры был солнечный свет, оттуда на меня надвигались черные тени грузовиков и подвод. Куда, собственно, я шел, неизвестно, так как через туннель можно было выйти не только к молочному заводу или на вокзал, — на крутом склоне холма Балленбюль жили небедные люди, в том числе моя крестная, жена деревенского врача, ей, но уже позже, учась в школе, я должен был приносить свои школьные табели, всегда неутешительные. Еще там жили глава церковной общины, служащие дирекции молочного завода, уже упоминавшийся король йодля да коротававшие дни в покое и уюте пенсионеры, поселившиеся на холме, потому что место солнечное, и наконец, там жили зубной врач и зубной техник. Они вдвоем заправляли Институтом стоматологии, который по сей день остается камерой пыток для пациентов из самых разных городов и весей, а нашей деревне принес известность. У каждого зубодера был свой автомобиль, уже поэтому они относились к привилегированной публике; вечером они сваливали в общую кучу деньги, полученные за пломбы, протезы, удаленные зубы, и на глазок делили выручку, не утруждая себя кропотливыми подсчетами. Зубной техник был приземистый толстяк; озаботившись делами народного здравоохранения, он добился выпечки особого, народного хлеба, от одного вида которого пробирала дрожь. Врач же был видный собой мужчина, да еще и из ретороманцев, родом, кажется, из Невшателя. Он слыл самым богатым человеком в округе, потом, правда, оказалось, что это заблуждение. А вот самым набожным он точно был: даже высверливая больной зуб, трепался о Спасителе. По части набожности ему не было равных, кроме разве что одной жилистой, неопределенного возраста дамы, всегда ходившей в черном. По ее словам, к ней являлись ангелы

с вестью о скорой смерти кого-нибудь из деревенских, впрочем, этой вестью она делилась с моим отцом лишь после похорон означенных особ. Во время дойки коров она читала Библию, а на меня возложили обязанность вечером провожать к ней ужинавших в нашем доме мелких торговцев и бродячих артистов, я вел их через равнину, что между нашей деревней и Цецивилем, в ее домик, где им предоставлялся ночлег. Мои родители были гостеприимной пасторской четой, всех привечали, всех сажали за стол; кормили и детей из цирка, который каждое лето разбивал свой шатер поблизости от деревни, а как-то раз, помню, у нас ужинал негр. Черный как сажа, звали его Модидин. Он сидел за столом по левую руку от моего отца и уплетал рис с томатным соусом. Негр был новообращенный, а все-таки я его боялся. Вообще в деревне многих обращали в новую веру: зазывали в свои шатры приезжие миссионеры, всем надоедала Армия спасения, проповедовали евангелисты, но наибольшую известность в этом смысле нам принесла магометанская миссия, обосновавшаяся в старинном шале выше по склону, над деревней. Миссия напечатала карту мира, на которой во всей Европе был обозначен единственный населенный пункт — наша деревня. Миссионерский чванливый жест, у многих породивший бредовое убеждение, что они живут в центре мироздания, а не в эмментальской дыре. Последнее — не преувеличение. Деревня была урод уродом — нагромождение домишек в мелкобуржуазном стиле, каких в Миттельланде двенадцать на дюжину. А вот крестьянские деревеньки в нашей округе были хороши: высокие крыши, аккуратно прибранные навозные кучи, а дальше, за деревнями, — таинственные темные ельники и манившая приключениями равнина: клеверные луга, желтые поля пшеницы, где мы шныряли и устраивали убежища, чтобы прятаться от крестьян, когда те, чертыхаясь, топтались у края поля и понапрасну высматривали нас. Еще таинственнее были темные закоулки и ходы на сеновалах в крестьянских дворах: мы часами ползали в теплом

пыльном мраке и, осторожно высунувшись, смотрели вниз, в коровник, где длинными рядами стояли коровы. Самым страшным местом был темный, без окна, чердак нашего дома. В темноте едва различимо, смутно белели кипы старых газет и книг. Еще, помню, я сильно напугался, войдя однажды в нашу домашнюю прачечную, — там лежало чудовище, наверное тритон; запомнился и мой ужас, когда в зеленой лавке, что на склоне под нашим театральным залом, хозяин, рубанув своей беспалой ручищей, разбил надвое кочан зеленого салата; до сих пор помню и как я струхнул, когда в моих руках забилась живая, увертливая форель, моя первая форель, пойманная в ручье, — рыбина дернулась, взвилась кверху, выскользнула, но тут я схватил ее и пришиб насмерть. Зато на кладбище ничего страшного не было. Когда родители хотели поговорить о чем-нибудь важном, они шли туда и прохаживались между могил. Мы с сестрой играли в прятки среди надгробных памятников, нередко — поблизости от могилы нашей сестренки; не помню ее рождения и смерти, а когда пытаюсь что-то вспомнить, вижу только бледную тень — кованный крест с эмалевой табличкой, но имя на ней забыл. Если на кладбище выкапывали новую могилу, я прыгал вниз и сидел, устроившись как дома, пока не появлялась похоронная процессия, о приближении которой возвещал колокольный звон; однажды я поздновато спохватился и вылез из могилы, когда мой отец уже дочитывал отходную. Мы были хорошо знакомы не только со смертью, но и с умерщвлением. В деревне не существует ничего тайного, а человек — он ведь хищный зверь с кое-какими человеческими задатками. Мы ходили в мясную лавку и смотрели во все глаза: подручные мясника убивали скотину, из живых громадных животных хлестала кровь, они валялись наземь и умирали, потом их рубили на куски. Проторчав в мясной четверть часа или полчаса, мы снова бежали на улицу, играть мраморными шариками. Мы были более осведомленными, чем полагали взрослые. И не только потому, что мы знали о сексе, хотя

взрослые об этих вещах молчали, — мы же видели и случку собак, и могучих быков, покрывающих флегматичных телок, мы слышали хвастливые рассказы парней о том, что они вытворяли с девками. Ведь и для детей деревня — не весь мир. Да, в деревне разыгрываются чьи-то судьбы — трагедии и комедии, однако жизнь деревни определяется миром: мир оставляет деревню в покое, забывает или уничтожает ее, а не наоборот. Деревня — всего лишь произвольно взятая точка в этом мире, случайно выбранная, ничем не примечательная, а потому заменяемая любой другой.

Мир больше деревни: над лесами блестят звезды. С ними я познакомился рано благодаря учителю Флури, тихому, серьезному человеку, который, пока не женился, был нашим жильцом. Флури преподавал в старших классах. Я рисовал звездное небо: неподвижную Полярную звезду, Большую Медведицу, Малую Медведицу и между ними изгиб Дракона. Я научился находить на небе яркую Вегу, мерцающий Альтаир, совсем близкий Сириус и очень далекую альфу Лебеда, гигантское солнце — Альдебаран и еще более мощные Бетельгейзе и альфу Скорпиона — Антарес. Мне было известно, что наша деревня находится на Земле, а Земля входит в Солнечную систему, я знал, что Солнце и его планеты движутся вокруг центра Млечного Пути, перемещаясь по направлению к Геркулесу, я знал и то, что туманность Андромеды, которую можно видеть невооруженным глазом, это такой же Млечный Путь, как наш. Я решительно не признавал систему Птолемея¹. Я знал нашу деревню, ближайшие окрестности, ближайший город, курортный поселок, расположенный опять-таки в ближайших горах, еще, благодаря школьным экскурсиям, я знал сколько-то других

¹ *Птолемей Клавдий* (ок. 100 — ок. 170) — эллинистический астроном, математик и физик, сформулировал геоцентрическую модель мира, согласно которой Земля находится в центре мироздания, а все небесные тела обращаются вокруг нее. Вплоть до настоящего времени геоцентризм находит признание у некоторых консервативных протестантских групп.

мест, отдаленных на сколько-то километров. Но это и все. Вертикально же, в космос, выстраивались конструкции огромной протяженности, и что-то похожее было с временем: прошлое воздействовало сильнее, чем настоящее, которое воспринималось, только когда оно затрагивало что-то непосредственно близкое, когда оно вторгалось в жизнь деревни. Политика деревенского масштаба уже была чем-то слишком абстрактным, слишком абстрактной была и роль молочного завода с его директором, пребывающим где-то вдалеке, еще большей абстракцией была политика страны, социальные кризисы, разорения банков, из-за чего мои родители потеряли свое состояние, — все слишком неопределенно, слишком неочевидно. А прошлое было осязаемо. О нем говорили взрослые. Мать пересказывала нам Библию. Она пошла учить детей в воскресной школе вместо дочери набожного стоматолога, у которой мы изнывали от скуки: нежным детским голоском эта унылая особа бубнила благочестивые изречения. Моя матушка развернула перед нами эпос. Правда, она обошла стороной историю Адама и Евы, считая этот сюжет весьма щекотливым, зато нарисовала нам грандиозную картину Всемирного потопа и гнева Божия — он же выплеснул на человечество целый океан, — ну-ка, поплавайте! Моисей и Иисус Навин, повелевший: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!»¹ От его повеления вселенная содрогнулась — на целый день и целую ночь остановились не только солнце и луна, — Млечный Путь и далекая туманность Андромеды, до того вращавшиеся с бешеной скоростью и мчавшиеся навстречу друг другу, замерли в неподвижности, пока на маленькой Земле бушевала битва, звенели щиты и мечи, летели наземь рассеченные кони и изрубленные в куски люди. Отец же рассказывал нам о древних греках. Когда мы шли через темный ельник в деревню Хойтлинген или поднимались по крутому склону в лес, где там и сям были

¹ Нав. 10: 12.

разбросаны крестьянские усадьбы, отец молчал: обдумывал проповедь, которую собирался произнести в крестьянской горнице. Но потом, когда мы уже в полной темноте возвращались домой, он рассказывал нам древнегреческие легенды. Герои и чудовища, о которых говорил отец, сразу становились близкими, не только потому, что некоторые имена я узнал раньше, участь различать созвездия, а потому, что эти имена и персонажи, их носившие, были едины: сильнейший из людей, когда-либо живших на свете, мог зваться только Гераклом и никак иначе. Держась за руку отца, я слушал рассказ о двенадцати подвигах, совершенных полубогом, о том, как он перехитрил титана Атланта, несшего на своих плечах мироздание и стонавшего под его непомерной тяжестью, — урони он свою ношу, все было бы сметено и разрушено; как он спустился в Аид и усмирил пса Цербера, — в тот момент, когда отец говорил об этом, залилась лаем цепная собака в усадьбе богатого крестьянина, мимо которой мы проходили; как непобедимый герой подстрелил двух орлов, терзавших печень Прометея, и как сгорел заживо, надев рубаху кентавра Несса.

Но больше всего отец любил рассказывать о царском сыне Тесее, победившем разбойников Прокруста и Синиса, и о Лабиринте царя Миноса, построенном Дедалом, чтобы держать в неволе непокорного Минотавра. Я узнал и о гибели отца Тесея: сын, раззява, возвращаясь с Крита, забыл, что надо поднять белый парус; не увидев этого знака, Эгей подумал, что сын его погиб, и в отчаянии бросился в море, ну да, в Эгейское. Чрезмерная отцовская привязанность опасна, сыновья перестают оказывать родителю должное внимание. И я ведь тоже был невнимательным сыном, редко вспоминал об отце, еще реже размышлял о нем. Однажды, когда отец рассказывал о Сизифе, или о Тантале, или об Эдипе — в общем, о ком-то, кого боги прокляли, я спросил, что такое проклятие. Отец ответил, что все эти истории выдуманы, древние греки не знали, что существует только один Бог. Впрочем, в другой раз, когда поздно

ночью в снегопад мы спускались из леса, он рассказал о человеке, который в молодости претерпел большие бедствия и проклял Бога, после чего дела этого человека пошли лучше некуда, он все больше богател, но душа его неуклонно погружалась в скорбь. Еще отец сказал, что существует грех, который Бог не может простить, однако никому достоверно неизвестно, какой это грех. Эта загадка занимала меня долго, потому что она, по-видимому, занимала и моего отца.

Хорошими рассказчиками были не только отец и мать, но и наш учитель Ретлисбергер, у которого на одной руке не было большого пальца. Он возглавлял Союз надежды, молодежное отделение Синего Креста¹. Даже сегодня я иногда раздумываю об одной истории, услышанной нами, детьми, от этого человека, вспоминаю ее как забытый сон. Все там происходило в темноватом кабаке. Даже сегодня я волнуюсь, как тогда, когда впервые услышал эту историю, и даже сегодня мне жаль, что я не дослушал ее до конца, — я заболел, а когда поправился, Союзом надежды руководил уже не учитель, а мужской портной. Я перестал к ним ходить. Портной умел только молиться, а рассказчик он был никудышный. Моя тогдашняя болезнь не была притворством, как и та, которую я перенес позднее. До этого я ведь частенько притворялся больным — мою кровать придвигали к окну, откуда я мог видеть все происходящее на дороге в Тун, иначе говоря, видеть уныло плетущихся в школу несчастных мальчишек и девчонок. Уже в средней школе я время от времени симулировал, чтобы избежать атак учителя французского. Но в тот раз — никакой симуляции: сильный жар, родители перепугались, отец все вечера просиживал у моей постели, врач сказал, что у меня «мозговой грипп», но мама применила свое проверенное средство — компрессы с глиной. Через два месяца я встал.

¹ *Синий*, или *Голубой, Крест* — христианская организация по оказанию помощи алкоголикам и наркозависимым, основана в 1877 г. в Женеве.

Вот только уже не мог, как прежде, быстрее всех пробежать пятидесятиметровку, бегал медленнее других ребят, и в футбол мог играть разве что правой ногой, и на лыжах с тех пор не хожу. Все потери мне возместили уроки нашего учителя истории и географии доктора Штендера, помнится, он был рыжеволосый, толстый и держался величаво. Он не учил нас — он развертывал перед нами грандиозные картины. Из географии — горы, долины, леса, глетчеры, родники и реки. Из истории — битва у горы Моргартен, когда на головы австрийцам полетели огромные камни и стволы деревьев, сражение при Земпахе, в котором швейцарцы били рыцарей алебардами и кистенями, а рыцари, с великим трудом спешиваясь с высоких коней, неуклюже переваливались, да и вообще едва могли пошевелиться в тяжелых доспехах. Он живописал нам штурм крепости Муртен, когда солдаты Конфедерации, не теряя драгоценного времени на молебны, ночью атаковали лагерь Карла Смелого, где как раз подходило к концу богослужение и герцог, облаченный в ночную рубаху, посвящал своих вояк в рыцари. Накануне каникул Штендер, отложив в долгий ящик учебные материалы, рассказывал нам о нибелунгах, по Вагнеру и древней эпической «Песне». Мое воображение покорили германские герои: кузнец Миме, Фафнер со своей шапкой-невидимкой, Зигфрид и Хаген, Дитрих Бернский и его старший дружинник Хильдебранд, Кримхильда и царь гуннов Этцель. И страшный финал, кровавое побоище в охваченном огнем замке гуннов. Мы не знали тогда, что уже скоро вдали от нашей деревни и за пределами нашей маленькой страны, среди которой мы прозябали в нашем захолустье, разразится побоище куда более страшное. Услышанное на уроках мы тотчас применяли на практике, в своих сражениях, мы бились деревянными, грубо сработанными мечами, а то и огородными подпорками для фасоли, стреляли из деревянных ружей; через некоторое время эти баталии сменились футбольными. Мы играли в футбол до позднего вечера, под конец валились с ног от

усталости, я во всем этом участвовал, после болезни тоже. На краю футбольного поля сидел в коляске парень, у которого не было обеих ног, за ним присматривала сестра. Об участии девчонок в наших буйных играх не было и речи. Чтобы кто-то ходил с подружкой — такого у нас тоже не водилось. На высоком престоле восседали взрослые, властвовали над нами. Они повелевали — и мы ходили в школу: воскресную, начальную, среднюю. Они устанавливали наш распорядок дня — когда ложиться спать, когда просыпаться, когда обедать. Их повеления ставили рамки нашим войнам и битвам. Взрослые были всемогущи и держались заодно. Некоторых взрослых мы ненавидели за то, что они, как нам казалось, ненавидели нас — не отвечали, когда мы с ними здоровались, — и мы перестали здороваться, например, с торговцем текстильными товарами, который жил по соседству, мы его боялись. В день его свадьбы люди, собравшиеся перед церковью, отворачивались, и мы были рады, что взрослые тоже терпеть его не могут, что у взрослых тоже хватает ненависти и зависти, совсем как у нас. Свадебная процессия притащилась к церкви тихо, словно похоронная, и церковь ее заглотнула. Вечером был шумный праздник, я уже лежал в кровати, как вдруг с шипением и треском в небе стали рваться ракеты. После свадьбы красавицу-жену этого торговца почти не видели. В свой сад он никого не пускал. Однажды я в сумерках осторожно слез на землю с липы — на ее развилке у меня было устроено укрытие из дощечек, — пробрался через кусты смородины в соседский сад и крадучись подошел к окну — меня привлекли доносившиеся оттуда вопли и ругань. А как-то раз отец взял меня с собой, идя навестить тяжелобольную женщину, жившую на краю нашего прихода, со стороны Обердисбаха. По дороге отец показал мне полуразвалившийся дом, стоявший особняком, и поведал, что когда-то он принадлежал старухе-крестьянке, которая на смертном одре призналась, что отравила своих родителей, и отца, и мать. С тех пор эти стоящие особняком усадьбы и дома казались

мне еще более таинственными. Одни были разбросаны по холмам, у самого леса, который, когда войдешь под его сень, напоминает собор: вечный мрак под громадными елями, редкие лучи солнечного света, словно покосившиеся колонны; другие крестьянские дворы ютились в лощинах, прорезавших леса, оттуда до ближайшего хутора или поселка добираться несколько часов; дороги грунтовые, зимой завалены снегом, ни проехать ни пройти. Крестьянин работал в одиночку, делал свое дело механически, совсем один на своем горбатом поле, один под исполинскими облаками, один под небом, откуда низвергается палящий зной или снежные шквалы, пронизывающий ветер, и ливни, хлещущие плетью, и жестокая дробь града; а еще он был один со своей семьей. Нередко случалось, если жена выстарилась, а прислугу не держали по бедности, крестьянин-отец спал с родной дочерью. Мы спускались в лощины или торопливо поднимались на холмы лишь тогда, когда там сжигало молнией какую-нибудь усадьбу. Мы вставали широким кругом, в центре которого пылал пожар, и смотрели, как все на дворе и в крестьянском доме с треском рушится, взметая искры, и гибнет в пламени. Ревела скотина, всюду громоздилась вытащенная из дому мебель, от пожарной команды не было толку, она, как правило, прибывала на пожар позже зрителей, из-за ужасных дорог. А потом, когда все уходило, когда на месте дома торчали лишь черные обугленные балки, от которых несло гарью и дымом, крестьянин со своей семьей опять оставался один, деревня о нем забывала. Иные погорельцы уезжали из наших краев, нанимались в батраки, женщины — в прислугу, детей отдавали в чужие семьи, но кое-кому удавалось отстроиться и завести новое хозяйство. Потом все заносило снегом, и погорельцы, наработавшись в лесу, долгими зимними вечерами раздумывали, за что же они прокляты, а те, кого злая судьба пощадила, обойдя стороной их усадьбы, думали-гадали, сидя в горнице, при свете месяца, почему же они удостоились милости Божьей, несмотря на то что спали со своими дочерьми или

скотиной. И внезапно комнатенки, где они ворочались без сна, озарял свет огненный, и раздавался громopodobный глас Божий. Некоторые записывали, что им сказал Бог, затем печатали за свой счет или за счет своих сторонников. Однажды я нашел на чердаке толстую черную книгу, похожую на Библию, — пошел с ней к отцу, спросил, что это за книга. Отец не ответил, а книгу забрал. Потом уже я обшарил весь чердак, но так ее и не нашел. Мне тогда показалось, что я ненароком приблизился к тайне, которая отделяла мир взрослых от мира детей. Но в то время все еще было цельным — материнская утроба деревни и бушующий мир окружающей жизни, событий истории и сказаний, которые были одинаково реальными, а еще непостижимые в своей огромности силы вселенной — все было цельным, потому что был вседержащий бесплотный добрый Бог — ему нужно было молиться, у него полагалось просить прощения, и в то же время от него можно было ожидать чего-нибудь хорошего, светлого, желанного, как от загадочного, чудесного дядюшки, проживающего за облаками. Добро и зло были твердо установленными понятиями, каждый день ты сдавал экзамен, за каждый поступок как бы выставлялась оценка, поэтому, кстати, и школа была с нами так сурова — школа была продолжением небесного порядка: для нас, детей, взрослые были все равно что полубоги. Мир, познаваемый опытом, был невелик, ограничивался бестолковой деревней, — огромен был мир легенд и преданий, он плыл в загадочном космосе, полном сказочных миров, с героическими сражениями, неисчислимыми тайнами и внезапно озаряющими догадками, которые ничем не проверишь. Этот мир ты должен был принимать на веру. И ты, беззащитный и нагой, был отдан вере.

Снова приехав в деревню несколько лет тому назад, я узнал только обступившие ее холмы, трактир на площади, пасторский дом с садом, где поредели деревья, — исчезла и ель, на которую я любил залезать; церковь перестроили,

все как будто уменьшилось, стало тесным, хотя деревня разрослась; прибавилось индустрии, по Бернской дороге стояли склады отопительных котлов. Я ощущал себя чужаком, — только поднявшись по лестнице от старого здания школы к домам на холме, пройдя возле сваленных в кучу еще влажных поленьев, я вдруг почувствовал, что вернулся домой, — этого запаха, запаха сырых нарубленных дров, я не слышал с юности. Но меня ждала еще одна встреча с юностью, призрачная. В здании большой больницы патологоанатом с гордостью показал мне современно оборудованный морг, перед входом стояла группка крестьян, дожидавшихся, когда их позовут посмотреть на «дедушку», я заметил там старуху с тощим букетиком цветов — должно быть, вдова старика, «бабушка». В морге лежал дед — уже вскрытый. На столах лежали еще два мужских трупа, рядом в мисках их мозги. Дедом и еще одним покойником занимались ассистенты прозектора, работник морга зашивал третий труп, грубо, точно шорник седло: труп дергался. «Ну что ж вы так люто, — бросил ему прозектор, видимо смущенный моим присутствием. — Незачем так лютовать!» Потом он спросил, какой диагноз врачи поставили старику, когда тот, еще живой, лежал в клинике, спросил о возрасте — восемьдесят, и сказал, что в молодости крестьянин мог в школе военной подготовки подхватить сифилис, а впрочем, сейчас посмотрим, — и запустил руки в кишки деда. Рядом со столом, на котором производилось вскрытие, стояли весы, совсем как те, что на разделочном столе в мясной лавке, и даже с ценниками. Один из ассистентов положил на весы печень. В дверях появился хирург с зажатой во рту сигаретой, он спросил, есть ли уже заключение по трупу, который зашивали — который подпрыгивал на столе; ему поставили неправильный диагноз. Прободение кишечника, верно, однако сверх того там рак почки с метастазами в кишечнике. Хирург, надувшись, ушел. Патологоанатом, торжествуя, подозвал к себе ассистентов: на

стенках кишечника он обнаружил следы застарелых сифилитических язв, характерные пятна, это же сенсация — сифилис такой великолепной, зрелой стадии нынче стал редкостью. Затем он пожелал взглянуть на головной мозг. В которой миске? В этой? Нет, в той. Вот, и здесь, смотрите, признаки сифилитического поражения, фантастика! Последствия сифилиса — кровоизлияния в мозг, это и есть причина смерти, а вовсе не воспаление легких, которое было диагностировано. Да и когда диагнозы были правильными! Дело случая. Если у одного оказался рак почки, он запросто может быть и у другого. Патологоанатом покопался в кишках «дедушки». Вот, тоже рак почки, объявил он счастливым голосом. Один диагноз у двоих, в его работе это часто случается. Ему возразил работник морга: для статистики не хватает еще двенадцати трупов; патологоанатом его утешил, мол, в декабре наверстаем, недостачи не будет. Пока продолжался этот макабр, это торжество исследовательского усердия, все это отчасти даже веселое медико-криминалистическое предприятие, я, примолкнув, уйдя в себя, вновь очутился в своей прежней деревне, снова увидел скотобойню, в нос ударила вонь крови и мочи, как сорок лет назад, когда большие, ни в чем не повинные животные валились замертво так близко от нашего дома и в канаву темными потоками бежала их кровь.

Он не отвечал моим представлениям о художниках. Он иногда приходил к нам, очень опрятно одетый, в нашей садовой беседке пил лимонад. Мама сказала, он богатый человек, но неудачно женился, так как жена у него ревнивая. Его излюбленным жанром были пейзажи, обычно с храмом в центре композиции. Один такой пейзаж висел у отца в его кабинете, куда отец вызывал нас, чтобы молча, печально выслушать наши признания. На этом пейзаже пастелью была изображена невероятно зеленая лужайка перед маленькой церковкой в Амзольдингене, первом приходе моего отца. Других картин этого художника отец не покупал.

Зато в его кабинете висела копия Рембрандта, цветная, в размере оригинала. Отец приобрел ее в память о сданном государственном экзамене. «Проповедник меннонитов Корнелий Ансло и его жена». Проповедник с жаром говорит что-то пожилой женщине, оба озарены светом, горит свеча. Я не любил эту картину. Корнелий Ансло походил на все более богатейшего инспектора мусульманской миссии в нашей деревне. Где-то жил еще один художник, не то за Балленбюлем, не то над деревней Урзеллен — где именно, я не знал. Иногда, раза два-три в год, я видел его на скамейке у дверей нашего дома, он спал, отвернувшись к стене. Он, значит, решил начать новую жизнь и дать моему отцу «подписку», как именовалось вступление в общество Синего Креста, а чтобы принять решение, сначала изрядно «принял на грудь». Отец не будил его, ждал, когда художник проспится, тот ведь никому не мешал, а вечером он давал «подписку». Обращения хватало на неделю новой жизни, но отца это не смущало: трезвая неделя — уже прогресс. А потом в деревне объявился третий художник. Он вернулся из Базеля, где учился после того, как мой отец убедил родителей парня, что живопись вполне достойное профессиональное занятие. Этот художник написал мой портрет и портрет моей сестры, в старинной манере, маслом на деревянной доске, полученной в дар от церковного совета; на заднем плане изображен ландшафт в окрестностях нашей деревни — лесистые холмы, на них крестьянские дома. Хорошо помню этого художника — осанистый, моложавый, с большими глазами и встрепанной шевелюрой. Разочарованием для меня было то, что он писал в основном пейзажи, тогда как я восхищался офортами Рембрандта и ксилографиями Дюрера на темы Апокалипсиса, «Лист в сто гульденов»¹, «Три креста»², Распятие, тьма, скрывающая небо и землю, ангел, нисходящий в огненных

¹ Офорт Рембрандта «Христос, исцеляющий больных» (1642–1646).

² Иначе — «Три распятия», офорт Рембрандта.

столпах, архангел Михаил, копьём поражающий дракона, ангелы-мстители, избивающие людскую толпу¹. Картины обрушивались на меня как горный обвал — и не отпускали. Врач, как раз в те дни открывший в деревне свою приемную, дал мне альбом Рубенса, — должно быть, ухмыляясь про себя: мои родители смутились, увидев, сколько там тучной плоти. А я пришел в восхищение от «Битвы амазонок»²: дикое месиво людей и коней на мосту, удары и столкновения, Тесей наносит страшный сокрушительный удар, афиняне наступают, амазонки обращаются в бегство, тела женские, конские срываются вниз, в воды реки, битва идет даже в небе, где буйно смешались облака. Но еще больше поразила меня «Охота на львов». В сущности, это охота на людей: два свирепых хищника — лев в броске и разъяренная львица — кинулись на людей, те в ужасе отбиваются. Я часами рассматривал и другую книгу, которую дал мне врач, альбом Арнольда Беклина, к ней я возвращался снова и снова. Фавн, с ухмылкой выглядывающий из зарослей тростника, пятна ослепительного солнечного света, огромный дракон выползает из пещеры, два кентавра сошлись в жаркой схватке, третий получеловек-полуконь поднял и в следующий миг обрушит на них каменную глыбу. Позднее на книжных полках в кабинете Германа Гримма³ я нашел иллюстрированную биографию Микеланджело. Страшный суд, вознесение праведных, низвержение осужденных; князь Аида Минос, обвитый змеями, одна из них впилась ему в срам; Харон, с занесенным для удара веслом. Я начал рисовать, подражая Микеланджело. Рисовать женщин было неинтересно — ну грудь, ну длинные волосы, женщины еще не играли роли в моих фантазиях. «Копировать», учиться

¹ Сюжеты гравюр Альбрехта Дюрера из цикла «Апокалипсис» (1497–1498).

² Картина Рубенса «Битва греков с амазонками» (1618).

³ *Гримм Герман Фридрих* (1828–1901) — немецкий литературовед и историк искусства, автор фундаментального труда «Микеланджело. Его жизнь в истории и культуре той эпохи — эпохи расцвета искусства во Флоренции и Риме» (1-е изд. 1907).

на натуре, заниматься наблюдением я считал ниже своего достоинства и не сомневался, что художник всем овладевает только силой собственного воображения. В моих рисунках начисто отсутствовало анатомическое и биологическое правдоподобие, рисунок что-то значил — этого мне было достаточно; и вот так, особо не утруждаясь, я рисую и пишу красками по сей день. Когда я показал Варлену¹ одну из моих немногих живописных работ, «Катастрофу», написанную в 1968 году, великий художник уставился на нее в изумлении, отказываясь верить своим глазам. На мосту через глубокое ущелье на высокой скорости столкнулись два переполненных людьми поезда. Оба, вылетев из туннелей навстречу свободе и гибели, обрушиваются вниз, на другой мост, по которому движется шествие коммунистов. Мосты, вагоны, пассажиры, коммунисты — все низвергается в ущелье, на стоящую там церковь, к которой стеклись толпы паломников, все они гибнут под развалинами храма. А наверху, над ущельем, в синем весеннем небе происходит столкновение солнца с другим солнцем, удар, знаменующий гибель Земли и всех планет Солнечной системы. Варлен долго молчал, наконец высказался, пожалуй, слегка озабоченно: «Взрослый человек не должен рисовать подобные вещи».

Согласен, он прав. Подлинную авантюру рисунка и живописи, поединок художника с его объектом — потому-то я так люблю писать портреты — я открыл для себя поздно, когда осознал, что смысл рисунка и живописи не в копировании, а в отображении. И все-таки я снова и снова поддаюсь своей давней склонности — воплощаю картины своей фантазии. На столе у меня рядом с рукописью лежит лист толстого белого картона, я подолгу к нему не притрагиваюсь, но в один прекрасный день небрежно провожу первую линию, затем на переднем плане быстро появляются

¹ *Гуггенхайм Вилли*, псевд. Варлен (1900–1977) — швейцарский художник, фигуративист.

очертания, например, города, за ним, однако ниже линии горизонта, возникает схватка двух огромных чудовищ, а в небе — галактики, звездные системы. Откладывая картон в сторону, иногда несколько дней к нему не притрагиваюсь, потом снова принимаюсь черкать пером, заполнять густой штриховкой кусочек неба, и тут на меня накатывает страсть — из ничего, из белой пустоты листа, словно сам собой создается мир. Я рисую ночи напролет, одну ночь, вторую, не чувствуя ни малейшей усталости. Никогда не смог бы так работать над своей писаниной. Изображение возникает непосредственно, у меня на глазах, временами я останавливаюсь, вешаю картон на стену и рассматриваю, отступив на несколько шагов, потом опять кладу на стол, соскабливаю что-нибудь бритвой, опять вешаю картину на стену — теперь лучше, но пропала интенсивность выражения. В очередной раз кладу картину на стол — вообще-то, этой ночью я собирался поработать над рукописью, — подправляю картину кистью, затем пером, скребу бритвой, счищаю какой-то фрагмент, прорисовываю пером какую-то линию, опять вешаю картину на стену, отхожу на несколько шагов — вот так и топчусь туда-сюда до рассвета. Наконец, убедившись, что рисунок пером хорош, я в изнеможении бреду через сад вниз, к жилому дому, следом сонно плетутся собаки, я лишь мельком замечаю свинцовый блеск озера, далекие и в этот ранний час словно прозрачные Альпы, огромное светлеющее небо. Но еще до полудня я снова берусь за свой рисунок, хотя по правде-то должен писать, так нет же, я не устоял перед искушением еще разок взглянуть на рисунок, и нужно-то было — всего одну деталь подправить, но, занявшись ею, я переделываю еще что-то, потом и еще; наконец вставляю рисунок в раму, уверенный, что теперь он закончен, вешаю на стену и только тут, в это самое мгновение обнаруживаю, где была допущена главная, ключевая ошибка. Вот в драме подобный отход на некоторую дистанцию возможен лишь во время последних репетиций, когда серьезных изменений в текст

уже не внесешь; с горя подправляешь какие-то мелочи, а существенные просчеты неустранимы; у тебя словно пелена упала с глаз, ошибки, ключевые, чаще всего возникают из-за случайной глупости: когда писал, исходил из чего-то такого, чего вовсе не стоило ожидать от зрителя, а когда наконец догадался, что да как надо было сделать, пьеса уже провалилась. Так из-за нелепых мелочей я растратил кредит, в свое время открытый мне в театре. А в прозе этот «отход», который позволяет окинуть взглядом все в целом, дается еще труднее. Проза ускользает, ее уносит поток времени. Мне не остается ничего, кроме как плыть по течению. Сколотить плот, то есть выстроить концепцию, — до этого у меня никогда не доходили руки. Я и рисую «напролом», и пишу так же, однако последствия этого в моей литературной работе оказываются гораздо более тяжелыми: перерыв, недолгая поездка — и я выброшен из потока времени. А значит, опять и опять начинаю заново, от начала до конца правлю или переписываю написанное ранее. И вот, когда уже кажется — все, проза закончена и осталось только придать ей приемлемый для печатания вид, при «последней правке» опять начинается эта история: я снова предаюсь власти времени, уносящего прочь все, что уже написано. Новые изменения делаешь на новой волне времени; я перечитываю написанное — то, что уже застыло, несмотря на внесенные изменения, — и в этот момент оказывается невероятно трудно признать написанное приемлемым. Отсюда мое отвращение к правке, потому что я не могу остановиться, правлю и правлю, снова и снова, в последний раз, самый последний, самый-самый последний. Безусловно, можно изменить что-то существенно важное и в законченной картине или рисунке, однако изображение непосредственно, то есть оно вне времени, и тем самым оно всегда под контролем: звери и город слишком срослись, звери словно всей тяжестью навалились на город, что я замечаю лишь через несколько недель после окончания работы. Но начинать сначала, снова нырять в «поток времени»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛАБИРИНТ

Сюжеты I–III

1964–1981 гг.

Окончательная редакция 1990 г.

I. Зимняя война в Тибете	7
II. Лунное затмение	156
III. Мятежник	249

СТРОИТЕЛЬСТВО БАШНИ

Сюжеты IV–IX

1964–1990 гг.

IV. Встречи	296
V. Поперек пути	303
VI. Мост	359
VII. Дом	381
VIII. Винтер	448
IX. Мозг	486

Литературно-художественное издание

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ
ЛАБИРИНТЫ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Редактор Ирина Стефанович
Художественный редактор Илья Кучма
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Елены Долгиной
Корректоры Ксения Казак, Нина Тюрина
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 20.04.2017. Формат издания 84 × 108 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 26,88. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах
на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



YAUM1910201R